

Николай Горелков

Девушка, которую он скрывал



Николай Горелков

Девушка, которую он скрывал.

«Автор»

2026

Горелков Н.

Девушка, которую он скрывал. / Н. Горелков — «Автор», 2026

«Девушка, которую он скрывал» — история о любви, унижении и болезненной привязанности. О девушке, которая терпит чужую жестокость ради любви, пока не понимает, что заслуживает большего, чем быть чьей-то тайной.

© Горелков Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава один	5
Глава два	9
Глава три	14
Глава четыре	17
Глава пять	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Николай Горелков

Девушка, которую он скрывал.

Глава один

Он нравился мне ещё до того, как впервые заговорил со мной, ещё тогда, когда я только научилась различать его шаги в коридоре среди десятков других, когда стала замечать, на каком месте он обычно садится и как легко занимает пространство вокруг себя, словно мир никогда не требовал от него извинений за существование, и, наверное, именно эта лёгкость притягивала меня сильнее всего, потому что я сама всегда входила в аудитории так, будто прошу прощения за то, что вообще решила появиться.

Я знала его имя, хотя мы ни разу не разговаривали, знала, с кем он дружит, как он улыбается, как запрокидывает голову, когда смеётся, и каждый раз, когда он проходил мимо, я инстинктивно втягивала живот и отводила взгляд, словно если я стану меньше, тише и незаметнее, то вероятность того, что он увидит меня и разочаруется ещё до того, как я успею придумать, кем хочу казаться, станет меньше.

Я никогда не представляла, что он подойдёт ко мне, потому что в моей голове существовали чёткие границы допустимого — такие девушки, как я, могут смотреть, могут молча восхищаться, могут даже надеяться в темноте своей комнаты, но они не становятся выбором, их не выбирают первыми, их если и замечают, то позже, когда вокруг не остаётся никого подходящего.

Поэтому, когда он сел рядом, хотя вокруг было достаточно свободных мест, я почувствовала не радость, а почти паническую настороженность, как будто где-то в аудитории уже поднят телефон, уже включена камера, уже готовится шутка, в которой я снова окажусь главным персонажем, и мне придётся смеяться вместе со всеми, чтобы не показать, насколько больно.

— Здесь свободно? — спросил он, и в его голосе не было ни скрытой насмешки, ни напряжения, но я всё равно оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что вопрос адресован именно мне, а не кому-то более подходящему, более аккуратному, более правильному.

Во мне давно не было ничего свободного: ни от сомнений, ни от привычки сравнивать себя с другими девушками, ни от постоянного ощущения, что я занимаю слишком много воздуха и слишком мало значу.

Я кивнула, стараясь не смотреть на свои руки, которые внезапно стали казаться огромными и неловкими, и услышала, как он начал говорить о расписании, о том, что запутался в аудиториях, о том, что преподаватель выйдет строже, чем на фотографии в методичке, и его голос звучал так спокойно, так естественно, что именно это и пугало меня больше всего, потому что если это не шутка, если это не подготовка к чьему-то смеху, то тогда мне придётся поверить, что он действительно разговаривает со мной — не из жалости, не из скуки, а потому что хочет.

Когда он попросил мой номер, я засмеялась слишком громко и слишком быстро, будто пыталась опередить возможное унижение, будто если я сама превращу этот момент в неловкую шутку, то мне не придётся переживать его всерьёз, и в этой попытке защититься было столько отчаяния, что я сама его услышала.

— Серьёзно, — сказал он тихо, глядя прямо на меня, и от этого взгляда внутри стало ещё тревожнее, потому что я не умела отличать искренность от прелюдии к боли.

Я продиктовала цифры, медленно, чувствуя, как вместе с ними отдаю ему то, что обычно прятала глубже всего, — крошечную, почти стыдную надежду на то, что, возможно, в этот раз меня не будут показывать всем как ошибку.

Когда я начала диктовать цифры, мне казалось, что они звучат слишком громко, будто каждая из них — это шаг по тонкому льду, который может треснуть в любую секунду, и я смотрела не на него, а на его руку, в которой он держал телефон, стараясь запомнить этот жест — спокойный, уверенный, лишённый той поспешности, с которой люди обычно записывают что-то ненужное.

Его пальцы двигались легко, без колебаний, и в этом было что-то почти обидное, потому что я ожидала увидеть сомнение, насмешку, скрытую улыбку, знак того, что всё это — розыгрыш, но он просто печатал цифры, слегка прищурившись, будто боялся ошибиться, будто для него было важно не перепутать ни одну.

Я всё-таки подняла взгляд, осторожно, как поднимают тяжёлый предмет, который может упасть и причинить боль, и увидела его лицо совсем близко — сосредоточенное, спокойное, без той оценивающей тени, к которой я привыкла, и от этого стало почти страшнее, потому что, если он не смеётся, значит, мне придётся поверить, что это по-настоящему.

Я заметила, как свет из окна ложится на его скулу, как он слегка закусывает нижнюю губу, когда перечитывает номер, как его брови едва заметно сходятся, будто он решает что-то серьёзное, и в этот момент он нравился мне так сильно, что я почти ненавидела себя за это, потому что привязанность к человеку, который может тебя уничтожить одним неосторожным словом, — это всегда опасность.

Он выглядел так, будто не видел во мне ничего смешного, ничего чрезмерного, ничего, что нужно спрятать, и именно это делало его ещё привлекательнее, потому что мне хотелось хотя бы один раз оказаться рядом с мужчиной, который не стыдится того, что я существую.

Когда он нажал «сохранить», я почувствовала, как сердце делает странный рывок, словно что-то внутри меня одновременно расширилось и сжалось, потому что этот маленький жест — сохранённый номер в его телефоне — означал, что между нами появилась нить, тонкая и хрупкая, но настоящая, и я боялась даже представить, как больно будет, если её оборвут.

Он поднял глаза и улыбнулся — не широко, не показательно, а тихо, будто это было что-то личное, предназначенное только мне, и от этой улыбки мне вдруг захотелось верить, что, возможно, он не смотрит на меня так, как смотрели другие, что, возможно, я не ошибка в его траектории, а осознанный выбор.

И именно в этот момент, когда он ещё не успел сказать ни одного лишнего слова, когда ничего плохого не произошло, я уже начала бояться, потому что знала: чем сильнее он мне нравится сейчас, тем глубже будет падение, если всё это окажется всего лишь ещё одной шуткой, рассказанной слишком близко к моему сердцу.

Он ещё держал телефон в руке, когда, будто между прочим, добавил, не глядя на меня, а куда-то в экран, словно проверял, сохранился ли контакт правильно:

— Только давай без лишнего шума, ладно?

Эта фраза прозвучала спокойно, почти заботливо, без приказа, без жёсткости, но внутри меня что-то мгновенно насторожилось, как будто я услышала знакомый щелчок замка, который закрывается изнутри.

— В смысле? — спросила я, стараясь, чтобы голос не выдал того, как быстро во мне начали выстраиваться худшие сценарии.

Он улыбнулся, и в этой улыбке не было злости, только лёгкое смущение, словно он просил о чём-то незначительном.

«— Ну... ты же понимаешь», — сказал он тише. — Я просто не люблю, когда все сразу начинают обсуждать. Эти идиоты в группе... начнут придумывать всякое.

Он произнёс это так, будто защищал меня, будто хотел оградить от чужих слов, и на секунду мне даже стало тепло от мысли, что он думает о возможных сплетнях и пытается их предотвратить, но это тепло было странным, тревожным, потому что за ним стояло другое

понимание — если обсуждать будут, значит, им есть что обсуждать, значит, сам факт нашего возможного общения уже выглядит как повод для шутки.

Я кивнула слишком быстро, словно боялась, что, если задержусь хотя бы на секунду, он передумает, уберёт номер, скажет, что всё это было ошибкой.

— Конечно, — сказала я. — Я вообще... никому ничего не рассказываю.

И в этих словах было больше правды, чем я хотела признать, потому что я действительно привыкла молчать — о том, что мне нравится, о том, что больно, о том, что надеюсь, — молчать так долго, что тишина стала моей второй кожей.

Он убрал телефон в карман и посмотрел на меня уже внимательнее, и в этом взгляде не было отвращения, не было неловкости, только лёгкая, почти мальчишеская заинтересованность, от которой внутри всё сжималось и расправлялось одновременно.

И именно это сочетание — его мягкая просьба не афишировать и его спокойный, почти тёплый взгляд — запутало меня окончательно, потому что одна часть меня шептала, что это начало чего-то настоящего, а другая, более старая и опытная в разочарованиях, уже тихо напоминала: если тебя просят не говорить о себе вслух, значит, тобой не хотят гордиться.

Но я выбрала первую часть.

Потому что иногда надежда звучит убедительнее страха, даже если страх оказывается прав в девяти случаях из десяти.

В тот день я вышла из аудитории с ощущением, что меня выбрали, что среди десятков девушек, которые умели смеяться громче, одеваться смелее и двигаться увереннее, он почему-то посмотрел именно на меня и решил, что я достойна его внимания, и это чувство было таким непривычным, таким почти опасным, что я несла его внутри осторожно, как стеклянный шар, боясь уронить.

Мне хотелось верить, что я не случайность, не эксперимент, не временная пауза между более подходящими вариантами, а осознанный выбор — тихий, но настоящий, и от этой мысли становилось тепло, даже несмотря на его просьбу “без лишнего шума”, которую я старалась объяснить себе заботой, зрелостью, нежеланием участвовать в глупых разговорах.

Но чем дольше я прокручивала в голове его слова, тем яснее становилось другое — выбранной можно быть по-разному, можно быть выбранной гордо, при свете дня, когда тебя берут за руку на глазах у всех, а можно быть выбранной так, чтобы об этом никто не знал, чтобы твоё существование не влияло на чужую репутацию, чтобы ты оставалась чем-то личным, почти тайным, чем делятся только в тишине.

И именно в этой тишине я вдруг почувствовала, что меня не столько выбрали, сколько аккуратно отодвинули за кулисы, словно я — деталь, которую не стыдно иметь, но стыдно показать, и это ощущение было тонким, почти неуловимым, но оно уже поселилось во мне, как предчувствие боли, которая ещё не случилась, но обязательно случится.

Я убеждала себя, что это просто осторожность, что он прав, что мир слишком любит обсуждать чужие жизни, что скрытность — это временно, что со временем он сам скажет вслух, что я рядом с ним не случайно.

Но глубоко внутри я уже знала разницу между тем, когда тебя выбирают, и тем, когда тебя прячут.

И всё равно, даже понимая это, я продолжала чувствовать себя счастливой, потому что иногда быть спрятанной всё равно лучше, чем быть незамеченной совсем.

После пар он позвонил так неожиданно, что я несколько секунд просто смотрела на экран, где высветилось его имя, и сердце билось слишком быстро, слишком громко, будто боялось, что я не отвечу и момент исчезнет навсегда, как исчезают случайные чудеса, если к ним прикоснуться неуверенно.

Я ответила почти сразу, но всё равно попыталась сделать вид, что не ждала этого звонка, хотя ждала — каждую минуту после лекции, проверяя телефон так часто, что это уже стало почти навязчивым движением.

— Привет, — сказал он, и в его голосе была та же лёгкость, что и утром, и от этого мне стало спокойнее, потому что, если он звонит, значит, всё по-настоящему, значит, номер был не шуткой.

Но почти сразу я услышала на фоне шум — сначала глухой, будто далёкий, а потом отчётливый, с мужскими голосами, с короткими смешками, с каким-то громким “ну давай уже”, произнесённым небрежно и слишком уверенно, и внутри что-то сжалось, потому что это не был случайный уличный шум, это был смех, направленный куда-то рядом с ним.

— Ты занят? — спросила я осторожно, стараясь, чтобы голос не дрогнул.

— Да нет, всё нормально, — ответил он быстро, чуть громче, чем нужно, и в этом повышенном тоне была едва заметная напряжённость, будто он говорил не только со мной, но и для кого-то ещё.

Я услышала ещё один смешок, приглушённый, но явный, и короткую фразу, которую не удалось разобрать полностью, только обрывок: “Скажи ей...”

Он резко кашлянул.

«— Просто ребята рядом», — сказал он почти небрежно. — Мы тут... обсуждаем кое-что.

Мне показалось, что звук на секунду стал объёмнее, будто телефон лежит не у его уха, а на столе, и все вокруг могут слышать каждое моё слово, каждую паузу, каждый неловкий вдох, и от этой мысли я почувствовала, как по коже проходит холод, потому что я не знала, кто именно сейчас слушает, и что именно они ждут.

— Ты на громкой связи? — спросила я тихо, уже зная ответ, но надеясь услышать отрицание.

Повисла короткая пауза — слишком короткая, чтобы быть случайной.

«— Да ладно, не переживай», — сказал он, и в его голосе прозвучала улыбка, но не та, тёплая, а другая — натянутая, направленная в сторону, не ко мне. — Они просто дурачатся.

И в этот момент я поняла, что каждое моё слово — это не только разговор с ним, но и выступление перед невидимой аудиторией, перед теми, кто уже смеётся, даже если я ещё не дала повода, и самое страшное было в том, что он не отключил громкую связь сразу, не ушёл в сторону, не сказал “подождите”, а продолжал говорить со мной так, будто ничего особенного не происходит.

Я старалась говорить спокойно, коротко, не выдавать ни волнения, ни обиды, потому что если они слушают, если они ждут реакции, то я не дам им её, я буду ровной, почти холодной, я не позволю им услышать, как дрожит мой голос.

Когда звонок закончился, он попрощался быстро, почти поспешно, и сразу после этого я услышала отчётливый взрыв смеха — не очень громкий, но достаточный, чтобы понять, что я была частью какого-то маленького представления, которое закончилось вместе с нажатием кнопки.

Я ещё несколько секунд держала телефон у уха, глядя в пустоту, и пыталась убедить себя, что ничего страшного не произошло, что это обычная студенческая глупость, что он просто не подумал, что это не про меня.

Но внутри уже появилось знакомое ощущение — тонкое, как трещина в стекле, — ощущение, что меня не столько выбирают, сколько демонстрируют, и что смеются не с ним, а надо мной, просто я пока ещё не вижу всей сцены целиком.

Глава два

Я никогда не считала себя по-настоящему красивой, но и уродливой тоже не называла, потому что я была из тех девушек, которых редко замечают первыми, чьё лицо не задерживается в памяти дольше нескольких секунд, если рядом есть кто-то ярче, громче, увереннее, и именно эта обыкновенность, эта тихая незаметность вдруг начала ощущаться не защитой, а слабостью, как будто отсутствие блеска автоматически делает тебя удобной мишенью.

В аудитории всегда находились девушки с идеально уложенными волосами и лёгкой, почти врождённой уверенностью в том, что пространство принадлежит им по праву, и когда они входили, смех становился громче, взгляды — внимательнее, а воздух будто сдвигался в их сторону, и рядом с ними я чувствовала себя не столько хуже, сколько прозрачнее, как будто если смотреть сквозь меня, можно увидеть кого-то более достойного внимания.

Когда я села за парту, стараясь сделать это тихо, без лишнего шума, будто даже звук моего движения мог кому-то помешать, позади раздался голос, нарочито беспечный, но достаточно громкий, чтобы его услышали все:

— Осторожнее, а то она займёт сразу два места.

Смех последовал почти автоматически, не взрывной, а ленивый, согласный, как будто это была не грубость, а нечто само собой разумеющееся, и именно эта обыденность ранила сильнее всего, потому что никто не видел в этих словах жестокости, они были сказаны так, будто я сама должна была улыбнуться вместе со всеми.

Кто-то добавил, чуть тише, но с тем же тоном:

— Да не, просто не садитесь рядом, а то потом подумает, что это свидание.

И снова смешки, лёгкие, уверенные, поддерживающие друг друга, превращающие моё существование в короткий эпизод коллективного развлечения, и в этот момент я почувствовала, как к лицу поднимается жар, как тело становится тяжёлым, как хочется втянуть плечи, выпрямить спину, изменить что-то во внешности одним усилием мысли, будто проблема во мне физически, а не в словах, которые бросают так легко.

Самым страшным было не то, что они шутили, а то, что я не слышала его голоса среди них — ни в защиту, ни в осуждение, ни даже в неловком “хватит”, — и это молчание, растянутое на несколько секунд, показалось бесконечным, потому что в нём было больше правды, чем в любых словах: если бы ему было по-настоящему больно за меня, он бы не остался в стороне.

Я не обернулась, потому что обернуться значило бы признать, что я слышала, что мне не всё равно, что я уязвима, а я отчаянно хотела сохранить хотя бы видимость спокойствия, поэтому просто открыла тетрадь и уставилась в строки конспекта, которые расплывались перед глазами, пока внутри медленно, почти бесшумно разрушалась та хрупкая иллюзия, что, если ты кому-то нравишься, мир автоматически станет мягче.

Оказалось, иногда ты нравишься именно потому, что над тобой удобно смеяться, и именно это осознание оказалось самым болезненным.

Он подошёл позже остальных, как будто специально выждал момент, и сел рядом так уверенно, словно это было естественно, словно вчерашний смех и сегодняшние слова за моей спиной не имели к нему никакого отношения, и я почувствовала, как сердце предательски отозвалось теплом на его близость, потому что, как бы больно ни было, одно его присутствие всё ещё значило для меня слишком много.

«— Не обращай внимания», — сказал он тихо, наклоняясь ближе, и его голос был мягким, почти заботливым, таким, каким он говорил со мной наедине, — они просто дурачатся.

Его рука на секунду коснулась моей ладони, и от этого прикосновения внутри всё сжалось и одновременно расслабилось, потому что я так отчаянно хотела верить, что он на моей стороне, что он видит во мне не повод для шуток, а что-то большее.

Но почти сразу, не убирая руки, он чуть повернулся назад, к ребятам, и я краем глаза заметила, как меняется его лицо — как в нём появляется та самая лёгкая, удобная улыбка, которая подходит для компании, для одобрения, для того, чтобы быть “своим”, и он что-то бросил им в ответ, короткое, несерьёзное, и вместе с ними тихо рассмеялся.

Смех был не долгим, не откровенно злым, но достаточным, чтобы я поняла: он не выпал из их круга, он не отделился, он просто нашёл способ быть одновременно со мной и с ними. Я сделала вид, что не заметила.

Это было почти инстинктивно — сохранить лицо, сохранить иллюзию, сохранить его для себя хотя бы в той версии, где он добрый, где он заботится, где он не участвует в общем развлечении за мой счёт.

Он снова повернулся ко мне так быстро, будто ничего не произошло, его пальцы переплелись с моими, и он слегка сжал мою руку, как будто успокаивая, как будто защищая, и в этом жесте было столько нежности, что на секунду я даже усомнилась в том, что видела.

И именно в этот момент с задних рядов раздался громкий голос:

— О-о-о, смотри, как серьёзно!

Другой подхватил, уже громче:

— Женись сразу, чего тянуть!

Смех стал открытым, раскатистым, без попытки притвориться, что это просто случайность, и я почувствовала, как его пальцы на секунду напряглись, как будто он не ожидал такой громкости, но руку он не убрал.

Он усмехнулся — той самой полуулыбкой, которая могла означать что угодно — и бросил через плечо:

— Успокойтесь.

Сказал легко, почти играючи, не обрывая, не останавливая, а будто поддерживая ритм шуток, и аудитория снова взорвалась смехом, уже более свободным, потому что теперь это стало коллективным спектаклем, где я сидела в первом ряду, но роли своей не выбирала.

Я продолжала смотреть вперёд, ощущая его руку в своей, слыша смех за спиной и понимая, что в этой сцене я одновременно и его “особенная”, и их повод для веселья, и самое страшное было в том, что он умел сочетать это так естественно, что почти убедил меня, будто так и должно быть. И я не убрала руку. Потому что иногда страх потерять человека сильнее страха потерять себя.

Когда они закричали “женись”, я почувствовала, как кровь мгновенно приливает к лицу, как будто кто-то включил во мне свет, который я не могла погасить, и я знала, что краснею — не слегка, не едва заметно, а предательски, ярко, так, что это, наверное, видно даже со второго ряда, и от этого становилось ещё хуже, потому что румянец — это признание, это реакция, это доказательство того, что мне не всё равно.

Я смотрела прямо перед собой, на доску, где ещё не было написано ни слова, и пыталась дышать ровно, медленно, убеждая себя, что это просто шутка, что они кричат всем подряд, что это обычная студенческая глупость, но мысли металась так быстро, что я едва успевала их ловить, и каждая из них звучала громче, чем смех за спиной.

Он держал мою руку, и это прикосновение, которое ещё вчера казалось чем-то особенным, теперь ощущалось двояко — как спасение и как доказательство, что я нахожусь в центре внимания не потому, что достойна, а потому что удобна для сцены.

“Он же не убрал руку”, — повторяла я про себя, словно это было главным аргументом в его защиту, — “если бы ему было стыдно, он бы отодвинулся”, и в то же время я помнила, как он смеялся секунду назад, как его плечи едва заметно дрогнули от смеха, обращённого не ко мне, а к ним, и от этого воспоминания внутри становилось тревожно, почти тошно.

Я пыталась убедить себя, что, может быть, он просто не хочет ссориться с друзьями, что, возможно, так проще — быть со всеми сразу, не выбирая сторону, и эта мысль пугала меня

больше всего, потому что, если он не выбирает сторону, значит, и меня он не выбирает по-настоящему.

Смех снова прокатился по аудитории, кто-то протянул “свадьба-а-а”, растягивая слово до абсурда, и я почувствовала, как сердце начинает биться так быстро, что кажется, его слышат окружающие, как в ушах шумит кровь, как ладони становятся влажными, и всё, чего мне хотелось в этот момент, — исчезнуть, раствориться, стать незаметной, чтобы никто не видел моего лица, моей реакции, моей слабости.

Но я продолжала сидеть ровно, почти неподвижно, с лёгкой, вымученной улыбкой на губах, потому что, если я сейчас выдерну руку, если отодвинусь, если покажу, что мне больно, это станет ещё одним поводом для смеха, ещё одним доказательством, что я не умею держать удар.

А внутри я сходила с ума — от противоречия, от стыда, от надежды, которая всё ещё жила, несмотря ни на что, и шептала, что, может быть, после занятий он скажет что-то другое, серьёзное, важное, что, может быть, наедине он будет совсем не таким. И именно эта надежда удерживала меня на месте сильнее, чем страх. Потому что признать, что он смеётся вместе с ними, означало бы признать, что я ошиблась. А к ошибкам, которые касаются сердца, я была не готова.

Я чувствовала, как щёки горят всё сильнее, как жар поднимается от шеи к вискам, и в какой-то момент мне показалось, что даже кончики ушей пульсируют, выдавая меня с головой, словно весь этот зал видит не просто румянец, а мою растерянность, мою зависимость от его реакции, моё отчаянное желание, чтобы он повёл себя иначе.

И именно тогда он, словно нарочно, медленно поднял свободную руку и поправил выбившуюся прядь моих волос, которая упала на лицо, касаясь кожи лёгким, почти интимным движением, от которого у меня перехватило дыхание, потому что этот жест был слишком личным для аудитории, слишком мягким для сцены, где секунду назад звучали насмешки.

«— Ты вся покраснела», — сказал он тихо, но не настолько тихо, чтобы это услышала только я.

В его голосе была улыбка, и он не скрывал её — наоборот, повернулся чуть в сторону, будто позволяя остальным увидеть эту картину целиком: я, с горящим лицом, с его рукой в своей ладони, с растрёпанными волосами, которые он только что поправил, как будто обозначая, что я — его.

С задних рядов раздался дикий, раскатистый смех, уже не сдержанный, не прикрытый шуткой, а открытый, одобрителный, и кто-то хлопнул по парте, усиливая общий шум.

— Смотри, какой заботливый! — выкрикнул один из парней.

— Всё, пацаны, нас не позовут, это будет закрытая церемония! — подхватил другой.

И тут засмеялись девушки.

Это было неожиданно и больнее всего.

Они переглядывались, наклонялись друг к другу, прикрывая рот ладонью, но не от смущения — от удовольствия обсуждать, и одна из них громко, так, чтобы все услышали, сказала:

— Интересно, в каком платье она будет?

Смех снова взорвался, уже смешанный, мужской и женский, и я почувствовала, как внутри что-то сжимается до крошечного, болезненного комка, потому что теперь это было не просто поддразнивание, это было коллективное обсуждение моего будущего, моей внешности, моей ценности, как будто я — не человек, а тема для импровизации.

Он улыбался.

Не широко, не издевательски, но достаточно, чтобы не выглядеть чужим в этой компании, достаточно, чтобы не потерять их одобрение, и в этот момент я поняла, что он умудряется держать две роли одновременно — для меня он заботливый, почти нежный, для них — свой, уверенный, тот, кто может позволить себе демонстрировать “девушку” как часть статуса.

Я продолжала сидеть, ощущая его пальцы в своих, ощущая его руку, которая всё ещё лежала на моих волосах чуть дольше, чем нужно, будто подчёркивая моё смущение, и я не знала, что страшнее — его жест или их смех.

В голове метались мысли: “Он же не отпустил меня”, “Он не стыдится”, “Он показывает, что я рядом”, и в то же время внутри тихо, почти шёпотом, звучало другое: “Он показывает меня». И от этого различия становилось по-настоящему страшно.

Я улыбнулась — крошечной, натянутой улыбкой, чтобы не выглядеть обиженной, чтобы не дать им ещё один повод, и именно в этот момент я окончательно поняла, как легко можно смеяться над человеком, если он сам делает вид, что всё в порядке. А я делала. Потому что потерять его сейчас казалось страшнее, чем пережить этот смех.

После пары он ушёл вместе с ребятами так естественно, будто ничего особенного не произошло, всё так же легко улыбаясь, всё так же касаясь моего плеча на прощание, как будто между нами действительно существовало что-то тихое и настоящее, а тот смех, те выкрики и чужие взгляды были лишь фоном, не имеющим к нам отношения, и именно эта лёгкость его шага, эта беззаботность, с которой он влился в их шумную компанию, вдруг показалась мне почти оглушительной.

Я собирала тетрадь медленно, слишком медленно, потому что торопливость выдала бы меня, показала бы, что мне нужно сбежать, спрятаться, отдышаться, а я упрямо хотела сохранить видимость спокойствия, хотела выглядеть так, будто меня невозможно задеть, будто я выше всего этого.

И именно в тот момент, когда аудитория почти опустела, рядом со мной остановилась одна из девушек — высокая, безупречно собранная, с аккуратным макияжем и той врождённой уверенностью, которая не требует доказательств, — и её тень легла на мою парту раньше, чем я решилась поднять взгляд.

— Слушай, — произнесла она мягко, почти участливо, наклоняясь ко мне так близко, будто собиралась поделиться чем-то личным, — ты только не принимай всё это близко к сердцу, ладно? Они просто так развлекаются.

Я кивнула, потому что не знала, как иначе реагировать, и почувствовала, как внутри поднимается знакомая волна — не злость, а смущённое согласие, будто мне действительно объясняют правила игры, о которых я почему-то не знала.

Она сделала короткую паузу, внимательно посмотрела на меня, и в этом взгляде не было открытой враждебности, но было нечто другое — оценка, измерение, сравнение.

— Просто ты же понимаешь, какой он, — продолжила она всё тем же спокойным тоном. — Вокруг него всегда девушки немного... другие. Яркие. Уверенные. Он привык к вниманию.

Слово “другие” прозвучало мягко, почти безобидно, но в нём было столько скрытого смысла, что я почувствовала, как что-то внутри болезненно сжимается, словно меня аккуратно, без грубости, но настойчиво ставят в определённую категорию.

— Если ты настроена серьёзно, — добавила она, слегка улыбнувшись, — тебе нужно быть готовой. Чтобы потом не оказалось слишком больно. Это звучало как забота. Как предупреждение. Как почти дружеский совет.

Но за этой мягкостью стояла чёткая граница, которую она провела между мной и тем миром, где, по её мнению, ему действительно место, и я вдруг поняла, что её слова ранят не потому, что они злые, а потому, что в них есть логика, которая совпадает с моими собственными страхами.

— Спасибо, — ответила я тихо, и мой голос прозвучал удивительно ровно, словно это был не я, а кто-то более взрослый, более спокойный, менее уязвимый.

Она ещё раз посмотрела на меня — коротко, изучающе, будто проверяя, насколько глубоко задела её слова, — а затем развернулась и ушла, оставив после себя лёгкий аромат духов и тяжёлое ощущение, что мне только что напомнили моё место.

Когда я осталась одна, шум аудитории сменился звенящей тишиной, и именно в этой тишине мысли начали звучать громче всего: может быть, она права, может быть, я действительно не подхожу, может быть, это всё временно, и он просто не осмеливается сказать вслух то, что уже понимают все вокруг. И самое страшное было в том, что часть меня не спорила.

Я молча принимала эту версию, примеряла её на себя, как неудобную, но, возможно, правдивую одежду, и именно это внутреннее согласие, это медленное привыкание к мысли о собственной “несоответственности”, пугало меня сильнее любых громких насмешек. Потому что смеяться над тобой могут другие. Но поверить в их смех — можешь только ты сама.

Глава три

Фотография появилась в общем чате ближе к вечеру, когда я уже почти убедила себя, что сегодняшний день закончился и больше не способен причинить мне ничего нового, и сначала это был обычный снимок с лекции, небрежный, чуть смазанный, где половина группы попала в кадр случайно, кто-то смеялся, кто-то листал телефон, кто-то отвёл взгляд в сторону, и среди этих лиц, почти незаметно, была я, за партой у окна, с напряжённым выражением лица и неловко приоткрытыми губами в тот самый момент, когда человек не контролирует себя.

Я не сразу узнала себя на этом фото, потому что в зеркале я привыкла видеть более собранную версию, более подготовленную к чужим взглядам, а здесь была поймана та доля секунды, когда лицо не защищено, когда мысль ещё не оформилась, когда ты существуешь без фильтра, и, наверное, если бы всё на этом и закончилось, я бы просто пролистала дальше.

Сначала в чате появились обычные реакции, нейтральные комментарии про лекцию, смайлики, короткие шутки про преподавателя, но затем кто-то написал “подождите” и через минуту выложил увеличенный фрагмент снимка, где был только мой лицо, приближённое так сильно, что черты казались чужими, непропорциональными, почти гротескными, словно я стала персонажем карикатуры.

Я смотрела на экран и чувствовала, как внутри начинает медленно расплзаться холод, потому что в этой приближённости было что-то насильственное, будто меня без разрешения вывели на крупный план, будто вытащили из общего фона и поставили под яркий свет, от которого невозможно отвернуться.

“Она мне кое-кого напоминает”, — написал тот же человек, и почти сразу в чат прилетела картинка — мем, знакомый, глупый, с преувеличенным выражением лица, и сходство не было точным, оно было условным, но достаточно очевидным, чтобы вызвать общий отклик.

Реакции начали появляться одна за другой, смеющиеся смайлики, огоньки, гифки с аплодисментами, короткие комментарии “один в один”, “это слишком”, “я не могу”, и с каждой новой отметкой я ощущала, как будто по коже проводят невидимым маркером, оставляя всё больше следов, которые нельзя стереть.

Я сидела в своей комнате одна, в полной тишине, и всё равно чувствовала себя в центре аудитории, потому что смех, даже цифровой, всё равно звучит в голове, всё равно наполняет пространство, и самое унижительное было в том, что я понимала — формально никто не написал ничего оскорбительного, никто не произнёс прямого унижения, они просто сопоставили, просто “пошутили”, просто поставили реакции, и именно эта формальная невинность делала происходящее ещё более безвыходным.

Я не писала в чат, не просила удалить фото, не пыталась оправдаться, потому что любое движение означало бы признание боли, а признание стало бы новой волной комментариев, новым витком веселья, новым доказательством того, что я не умею держать дистанцию.

И всё же, несмотря на попытку оставаться неподвижной, я открыла список реакций, медленно прокрутила его вниз, будто проверяя приговор, и нашла его имя рядом с маленьким смеющимся смайликом, простым, стандартным, без слов, без пояснений, но именно эта лаконичность оказалась самой оглушительной, потому что ему не понадобилось ничего писать, чтобы обозначить свою сторону.

В этот момент я почувствовала, как что-то внутри меня тихо треснуло, не с громким звуком, не с драматическим надломом, а почти бесшумно, как стекло, по которому прошла тонкая линия, ещё не разрушившая его полностью, но уже навсегда изменившая его структуру, и я вдруг поняла, что цифровой смех страшнее живого именно потому, что он сохраняется, фиксируется, остаётся доказательством, к которому можно вернуться в любой момент.

И я закрыла телефон, но ощущение чужих глаз никуда не исчезло, потому что, однажды оказавшись на крупном плане, ты уже не можешь вернуться в фон, каким бы незаметным ни хотел быть.

Его сообщение пришло спустя всего несколько минут после того, как чат немного стих, будто он выждал ровно столько, чтобы общий смех улёгся, чтобы мем перестал мелькать на экране каждую секунду, и когда на дисплее высветилось его имя, моё сердце, вопреки здравому смыслу, всё равно отозвалось привычным тёплым толчком, как будто организм отказывался учиться на боли.

“Не обращай внимания, они перегнули”, — написал он, и эти слова выглядели почти заботливо, почти правильно, почти так, как должен писать человек, который на твоей стороне.

Я смотрела на сообщение долго, слишком долго, перечитывая его снова и снова, пытаясь уловить в этих коротких строках что-то большее, чем просто формальность, что-то, что доказало бы, что смеющийся смайлик в чате был случайностью, недоразумением, секундной слабостью.

“Ты там на фото милая, кстати”, — добавил он следом, и к сообщению прикрепился маленький улыбающийся эмодзи, мягкий, почти интимный, совсем не похожий на тот, который стоял под мемом.

И вот тогда внутри меня началось то самое расслоение, от которого становится трудно дышать, потому что одновременно существовали две версии его — тот, кто публично смеётся, и тот, кто в личных сообщениях говорит “милая”, и мне нужно было выбрать, какой из них настоящий.

Я набрала “всё нормально”, стерла, набрала снова, стерла ещё раз, потому что “нормально” было ложью, а правда казалась слишком тяжёлой для отправки, слишком опасной, способной разрушить то, что я всё ещё отчаянно пыталась сохранить.

“Мне было неприятно”, — написала я наконец, и даже в этих словах не было обвинения, только осторожное признание, будто я извиняюсь за собственные чувства.

Он ответил быстро, почти сразу, словно сидел с телефоном в руке.

“Ты слишком близко к сердцу принимаешь”, — появилось на экране, и за этой фразой последовало ещё одно: “Это просто шутка, не будь такой серьёзной”.

Я прочитала это и почувствовала, как внутри что-то медленно оседает, как будто почва под ногами становится мягкой, ненадёжной, и именно в этот момент к глазам подступили первые слёзы, не резкие, не бурные, а тихие, тяжёлые, которые сначала просто затуманивают зрение, а потом срываются вниз, оставляя на щеках горячие дорожки.

Я не плакала громко, не всхлипывала, я сидела в полной тишине своей комнаты и смотрела на экран, где всё ещё светились его слова, и пыталась понять, как возможно, что человек, который только что держал меня за руку перед всеми, который поправлял мои волосы, который пишет “милая”, в ту же самую реальность вписывает смайлик под мемом и объяснение, что проблема — в моей чувствительности.

Слёзы текли сами по себе, медленно, упрямо, и я не вытирала их сразу, потому что в этих слезах было больше честности, чем во всех моих сообщениях, больше признания, чем в моём “всё нормально”, и я вдруг осознала, что плачу не только из-за фото, не только из-за смеха, а из-за того, что начинаю сомневаться в собственном восприятии, начинаю верить, что, возможно, действительно “перегибаю”, что, возможно, это я делаю из ничего трагедию.

И именно это сомнение оказалось самым разрушительным, потому что если боль — это шутка, то, значит, и мои чувства — ошибка.

Он написал ещё раз: “Я же с тобой, разве нет?”, и в этой фразе было столько уверенности, столько простоты, что на секунду мне захотелось поверить, захотелось стереть слёзы, улыбнуться экрану и согласиться, что да, он со мной, что этого достаточно.

Но экран не обнимал. Сообщения не стирали мем, а смайлик под фотографией никуда не исчезал.

И я впервые заплакала по-настоящему — не из-за них, не из-за девушек, не из-за шуток, а из-за того, что человек, которого я выбрала, уже начал понемногу разрушать меня, а я всё ещё пыталась назвать это любовью.

Глава четыре

Он сказал об этом так спокойно, так буднично, будто речь шла о погоде или расписании занятий, будто это не запрет, а просто разумная рекомендация, и именно эта спокойная уверенность в его голосе сделала его слова особенно тяжёлыми.

«— Тебе не стоит приходить», — произнёс он, глядя не прямо на меня, а куда-то в сторону, словно уже представлял шумную квартиру, друзей, музыку, чужие взгляды. — Там будет много людей, будет громко, тебе не понравится.

Я кивнула не сразу, потому что в этой фразе было что-то большее, чем забота о моём комфорте, в ней было скрытое “ты не вписываешься”, “тебе там не место”, “я не хочу объяснять”, и я почувствовала, как внутри поднимается протест, тихий, едва слышный, но настойчивый.

— Почему? — спросила я осторожно, стараясь, чтобы голос не звучал обвинительно, потому что я уже научилась бояться его недовольства.

Он вздохнул, как будто устал объяснять очевидное.

«— Просто поверь мне», — сказал он мягче. — Это не твоя атмосфера, не твоя.

Эти два слова прозвучали как приговор, как аккуратно оформленная граница между его миром и моим, и я вдруг поняла, что если сейчас соглашусь, если снова выберу тишину и понимание, то сама закреплю за собой статус той, кого показывают только частично, только в удобных обстоятельствах.

Вечером я долго стояла перед зеркалом, рассматривая себя так внимательно, будто пыталась увидеть то, что видят другие, будто искала доказательство, что он прав, что я действительно “не подхожу”, и чем дольше я всматривалась, тем сильнее хотелось доказать обратное, не ему даже, а себе.

Я выбрала платье, которое казалось достаточно простым, чтобы не выглядеть вызывающе, но достаточно женственным, чтобы не чувствовать себя тенью, распустила волосы, попыталась уложить их так, чтобы они мягко падали на плечи, и всё это время в голове звучала одна мысль: я имею право быть рядом с ним не только в тишине, не только в сообщениях, не только в аудитории, где можно спрятать всё за смехом.

Когда я подошла к дому, где уже гремела музыка, сердце билось так быстро, что мне казалось, будто его слышно сквозь стены, и на секунду я остановилась, почти развернулась, потому что страх быть лишней оказался сильнее желания доказать что-то. Но я вошла. Не назло. Не чтобы устроить сцену.

А потому что хотела быть нормальной парой, хотела стоять рядом с ним открыто, без шёпотов, без громкой связи, без смайликов в чате, хотела, чтобы он представил меня не как случайность, а как выбор.

Я увидела его через толпу почти сразу, он стоял в центре комнаты, смеялся, жестикулировал, выглядел уверенно, свободно, и в этот момент я вдруг поняла, что впервые вижу его в его настоящей среде, в том мире, который он так бережно отделял от меня.

Когда наши взгляды встретились, его улыбка на секунду дрогнула, и в этой короткой паузе, в этом едва заметном напряжении я прочитала всё — удивление, раздражение, расчёт. Он не ожидал меня. Он не хотел, чтобы я была здесь.

И всё же я уже сделала шаг вперёд, уже улыбнулась, уже подошла ближе, потому что если я сейчас остановлюсь, если отступлю, то признаю, что действительно не принадлежу этому месту.

— Привет, — сказала я, стараясь звучать легко, будто это было заранее согласовано, будто я не нарушила ничьих правил.

И в этот момент я ещё не знала, что этот вечер станет точкой, после которой иллюзия “нормальной пары” начнёт рассыпаться окончательно.

Я успела сделать всего несколько шагов к нему, успела заметить, как он быстро оглядывается по сторонам, будто проверяя, кто именно видел моё появление, успела поймать в его взгляде ту самую секунду раздражённого расчёта, которая появляется, когда планы нарушаются, и в этот момент к нему подошла девушка — высокая, уверенная, с гладкими волосами, которые ложились на плечи так безупречно, будто их укладывали специально для этой сцены, и я узнала её, потому что видела в коридорах, в параллельной группе, среди тех, кого всегда окружает шум. Она не замедлила шаг. Не спросила и не остановилась.

Она подошла к нему так естественно, будто имела на это полное право, положила ладонь ему на грудь, приподнялась на носках и поцеловала его — легко, коротко, но достаточно близко, достаточно явно, чтобы у меня на секунду пропал воздух, чтобы мир вокруг будто сузился до одной точки.

Музыка продолжала играть, люди продолжали двигаться, но для меня всё замедлилось, как в плохом сне, где ты понимаешь, что что-то идёт не так, но не можешь вмешаться. Он не оттолкнул её сразу. Его руки на секунду зависли в воздухе, словно он выбирал, как правильно отреагировать, и эта доля секунды растянулась внутри меня в бесконечность. Она отстранилась сама, усмехнулась, посмотрела на меня открыто, без стеснения, и спросила громко, так, чтобы услышали стоящие рядом:

— Это она?

Кто-то засмеялся почти сразу.

Кто-то повторил: “Она?”

И смех начал распространяться по комнате, как волна, подхватывая новые голоса, новые взгляды, новые комментарии, и я почувствовала, как внутри всё холодеет, как будто меня только что вынесли на середину сцены без сценария и без права на реплику.

Он наконец сделал шаг назад, провёл рукой по затылку, усмехнулся — той самой полуулыбкой, которую я уже знала слишком хорошо, — и сказал что-то неразборчивое, не отрицание и не подтверждение, что-то размытое, что позволило всем продолжать смеяться, не чувствуя неловкости.

— Мило, — протянула она, скользнув по мне взглядом с головы до ног, в котором не было ни ненависти, ни злости, только любопытство и лёгкое превосходство. — Не ожидала. Смех снова прокатился по комнате.

Кто-то выкрикнул: “Треугольник!”

Кто-то свистнул.

Я стояла, чувствуя, как в груди нарастает глухой гул, как ладони становятся ледяными, как лицо, наоборот, горит так сильно, будто на меня направили прожектор, и в голове звучала только одна мысль: он же говорил, что это не моя атмосфера. Теперь я понимала почему.

Я смотрела на него, отчаянно ища в его лице хоть что-то — смущение, вину, попытку всё объяснить, но видела лишь напряжённую улыбку человека, который пытается удержать равновесие между двумя мирами, не потеряв ни один из них. И именно в эту секунду я почувствовала не ревность. Не злость. А унижение.

Глубокое, медленное, липкое унижение человека, которого сначала спрятали, потом показали, а теперь поставили рядом с кем-то, чтобы сравнить.

Мне хотелось исчезнуть, раствориться в шуме музыки, стать невидимой, но я продолжала стоять, потому что уйти означало бы подтвердить их версию, признать поражение, а я всё ещё цеплялась за иллюзию, что если выдержу это, если не заплачу, если не убегу, то, возможно, он наконец выберет сторону.

Но в глубине души я уже знала, что этот вечер не про выбор.

Он про расстановку. И я в этой расстановке стояла не рядом с ним, а напротив.

Музыка внезапно стала громче, ритм плотнее, свет — резче, и пространство комнаты словно переформатировалось, освобождая центр для танцев, для смеха, для тел, которые сталкиваются, не думая о последствиях. Я осталась сидеть.

Не потому что устала, не потому что не умела танцевать, а потому что вся эта игра казалась мне слишком банальной, слишком громкой, слишком пустой, и я не хотела растворяться в ней так же, как растворялись остальные, поэтому я выбрала диван в полутени, с краю, откуда было видно почти всё, но меня замечали меньше.

Он сначала стоял рядом с друзьями, смеялся, что-то говорил, делал вид, что не ищет взглядом никого конкретного, и я почти поверила, что он подойдёт ко мне, протянет руку, скажет что-то вроде “пойдём”, чтобы всё это хоть как-то выровнять, чтобы стереть неловкость, чтобы доказать — пусть молча — что я всё-таки не случайность в его вечере. Но к нему подошла она.

Та самая, из параллельной группы, уверенная в своих движениях, с лёгкой улыбкой, в которой не было сомнений, и она просто взяла его за руку, будто это самый естественный жест в мире, будто он всегда танцевал с ней, а не со мной, будто я была не свидетелем, а фоном. Он не сопротивлялся. Не замялся. Не оглянулся. Он пошёл.

И уже через несколько секунд они двигались в центре комнаты, близко, легко, смеясь, наклоняясь друг к другу, и в их движениях не было ни неловкости, ни осторожности, ни оглядки — только свобода, та самая свобода, которую люди позволяют себе, когда не боятся быть увиденными. Я смотрела сначала спокойно, потом слишком внимательно.

Я отмечала детали, которые, возможно, никто больше не замечал: как его ладонь уверенно ложится ей на талию, как он наклоняется к её уху, чтобы что-то сказать, и она смеётся, запрокидывая голову, как их плечи почти не разъединяются, как они двигаются синхронно, без пауз, без дистанции. И в какой-то момент я поймала себя на том, что сравниваю. Не её со мной — нет. Себя с ней. Её лёгкость с моей осторожностью. Её уверенность с моей постоянной потребностью быть “удобной”. Её место в центре — с моим местом на краю дивана.

Музыка становилась громче, люди хлопали, кто-то подталкивал их ближе друг к другу, подбадривал, и я поняла, что это уже не случайный танец, а маленькое представление, маленькая сцена, где он выглядит так, как хочет выглядеть, — свободным, желанным, без обязательств. И в этот момент внутри меня что-то начало медленно трескаться. Не резко, не с криком, а почти бесшумно, как лёд под тяжестью, который ещё держит форму, но уже не выдерживает давления.

Я пыталась объяснить себе, что это просто танец, что он никому ничего не должен, что я сама решила сидеть здесь, что я слишком чувствительна, слишком драматизирую, слишком требовательна, но каждое из этих оправданий звучало всё слабее, всё менее убедительно, потому что правда была слишком простой и слишком болезненной. Он выглядел счастливым там.

И эта его естественность с ней, эта демонстративная открытость, эта свобода движений — всё это вдруг стало зеркалом, в котором я увидела себя рядом с ним совсем иначе: тише, осторожнее.

Я сидела, сцепив пальцы так сильно, что ногти впились в кожу, и чувствовала, как в груди нарастает не ревность, а ощущение собственной ненужности, словно я случайно заняла место, которое изначально мне не принадлежало, словно я ошиблась адресом, а теперь наблюдаю, как настоящая жизнь проходит мимо.

И когда он, смеясь, поднял её за талию в такт музыке, а она обвила его шею руками, я вдруг поняла, что ломаюсь не из-за неё. Я ломаюсь из-за себя.

Из-за того, что всё это время пыталась быть той, кого можно спрятать, лишь бы сохранить его рядом.

Из-за того, что соглашалась на тишину, на паузы, на “не сегодня”, на “не здесь”, на “ты же понимаешь”.

И именно там, в полутени дивана, под мигающим светом, среди чужого смеха, я впервые почувствовала, как внутри медленно оседает последняя иллюзия, как что-то важное во мне гаснет, не с криком, а тихо, почти достойно. Я больше не чувствовала злости. Только усталость. И странную ясность. Он танцевал. А я в этот момент училась отпускать.

Я всё ещё сидела в полутени, стараясь не смотреть слишком долго в центр комнаты, потому что каждый раз, когда мой взгляд задерживался на нём и на том, как легко он двигается с ней под музыку, внутри что-то болезненно сжималось, и именно в этот момент рядом со мной остановился тот самый парень, которого обычно не замечали, над которым чаще подшучивали, чем слушали, и я почувствовала на себе его неуверенное присутствие, как будто он долго собирался с силами подойти.

Он стоял неловко, чуть сутулившись, пальцы его то сжимались, то разжимались, и, избегая прямого взгляда, он тихо спросил, не хочу ли я потанцевать, и в его голосе было столько осторожности, что я на секунду растерялась, потому что это было искренне, без игры, без расчёта. Но я не думала о нём. Я думала о том, как в центре комнаты смеётся он. О том, как его ладонь лежит на чужой талии так уверенно, будто именно так и должно быть. О том, что я сижу здесь, в тени, как запасной вариант.

И во мне вспыхнуло упрямое, почти отчаянное желание сделать что-то назло, доказать, что мне всё равно, что я тоже могу выйти в центр, что я не тот человек, которого можно оставить наблюдать.

Я сказала “да” слишком быстро, даже не дав себе времени подумать, и мы вышли на середину комнаты, под свет, под взгляды, под музыку, которая теперь казалась оглушительной, как будто весь вечер ждал именно этой сцены.

Я двигалась резко, нарочито свободно, слишком смело, словно играла роль, которую сама же себе придумала, я положила ладонь ему на плечо, приблизилась, заставляя себя улыбаться, хотя губы уже начинали дрожать от внутреннего напряжения, и в какой-то момент я поймала взгляд того, ради кого всё это делала, и в его глазах не было ни ревности, ни тревоги, только удивление и лёгкая насмешка, от которой мне стало холодно.

Смех начался постепенно, сначала тихий, почти незаметный, кто-то толкнул соседа локтем, кто-то что-то прошептал, и вдруг я увидела, как один из ребят поднимает телефон, наводит камеру, делает снимок, за ним другой, третий, и щелчки начали смешиваться с музыкой, а затем кто-то громко сказал что-то вроде “вот это поворот”, и зал разразился смехом, лёгким, громким, беспощадным, потому что толпа всегда смеётся легче, чем один человек.

Я почувствовала, как моё лицо горит, как движения становятся скованными, как вся моя показная смелость рассыпается прямо на глазах, потому что я внезапно поняла, что вышла назло одному человеку, а стала зрелищем для всех, и тот парень напротив меня, который ничего плохого не сделал, пытался улыбаться, не понимая, смеются ли над ним, надо мной или над нами обоими, и от этого становилось ещё тяжелее, потому что я втянула его в свою глупую попытку доказать то, что не доказывается танцами.

Смех усиливался, телефоны не опускались, кто-то уже явно снимал видео, и я ощутила, как внутри что-то ломается окончательно, не с громким треском, а тихо, как стекло, по которому пошла паутина трещин, и я больше не могла выдерживать этот свет, эти взгляды, этот коллективный приговор.

Я отступила, пробормотала что-то невнятное, даже не посмотрев ему в глаза, развернулась и пошла к выходу быстрым шагом, который почти перешёл в бег, чувствуя, как за спиной продолжается музыка, как кто-то всё ещё смеётся, как этот вечер закрепляет за мной образ, от которого я уже не смогу отмыться.

В коридоре было темнее, тише, прохладнее, и я прислонилась к стене, пытаюсь восстановить дыхание, но воздух застревал где-то в груди, и только там, вне света и чужих телефонов, я позволила себе закрыть лицо ладонями и осознать, что я не стала сильнее, не стала смелее, не стала “нормальной”, я просто ещё раз поставила себя туда, где надо мной удобно смеяться. И самое болезненное было даже не в этих фотографиях. А в мысли, что он, возможно, смотрел на это всё и тоже улыбался.

Я почти не помню, как добралась до дома, потому что дорога слилась в одну размытую полосу света и темноты, фонари расплывались перед глазами, прохожие превращались в тени, а внутри меня нарастал глухой, невыносимый шум, будто весь вечер продолжал звучать у меня в голове, только теперь без музыки, без слов, без лиц, одним сплошным унижительным эхом.

Когда дверь квартиры закрылась за моей спиной, щелчок замка прозвучал неожиданно громко, и в этой тишине я вдруг почувствовала, насколько я одна, насколько всё, что случилось, больше никто не видел так, как видела я, и от этого стало ещё тяжелее, потому что не было ни свидетеля, ни оправдания, ни чьей-то руки, которая могла бы остановить этот внутренний обвал.

Я прошла в комнату, не включая свет, скинула куртку на пол, не разуваясь дошла до кровати и буквально рухнула на неё, лицом в подушку, будто пыталась спрятаться, раствориться, исчезнуть, и в ту же секунду всё, что я сдерживала, прорвалось наружу — слёзы, хлынули резко, некрасиво, с судорожными вдохами, с болью в горле, с ощущением, что грудную клетку разрывает изнутри, и я плакала не тихо, не аккуратно, а так, как плачут, когда внутри ломается что-то важное.

Я вспоминала, как он танцевал, как смеялся, как не оглянулся ни разу, когда надо мной начали смеяться, как телефоны поднимались один за другим, как свет бил в лицо, а он оставался там, в центре, в одобрении, в своей свободе, и чем яснее эти кадры всплывали в памяти, тем отчётливее становилось понимание, которое я пыталась оттолкнуть весь вечер. Я для него — не выбор. Не гордость. Не человек, за которого хочется встать. Я для него — неловкость, которую проще переждать, чем защитить.

И именно это понимание раздавило меня окончательно, потому что, если бы он хотя бы подошёл, если бы остановил смех, если бы просто вывел меня за руку из той комнаты, я могла бы придумать тысячу оправданий, могла бы снова поверить, что это недоразумение, что это случайность, что он растерялся, но он остался там, среди них, среди их улыбок и комментариев, и этим выбором сказал больше, чем сказал бы любыми словами.

Я перевернулась на спину, глядя в тёмный потолок сквозь слёзы, и почувствовала, как внутри оседает холодная, страшная ясность: я для него не любовь, которую защищают, а история, над которой можно неловко усмехнуться, если станет слишком серьёзно.

Мне стало стыдно — не за танец, не за то, что я вышла назло, не за свою попытку доказать, что мне всё равно, а за то, что я так долго соглашалась быть тенью, соглашалась на “не сейчас”, на “не здесь”, на “ты же понимаешь”, надеясь, что однажды он перестанет бояться света, а оказалось, что света боится не он. Света боится он только со мной.

И от этой мысли я заплакала ещё сильнее, потому что впервые позволила себе назвать это так, как есть: я для него не тайна, не сложность, не особенная связь.

Я для него — посмешище, которое удобно держать в стороне, пока рядом смеются другие.

И в ту ночь, лежа в темноте, с мокрой подушкой под щекой, я поняла, что больше всего не их смех. Больше всего — его молчание.

Телефон завибрировал где-то рядом, на тумбочке, коротко, настойчиво, как будто напоминая, что вечер ещё не закончился, что унижение умеет догонять даже в темноте собственной комнаты, и я сначала не хотела его брать, потому что внутри меня уже не оставалось сил на новые удары, но вибрация повторилась, потом ещё раз, и в какой-то момент я машинально

потянулась к экрану, будто всё ещё надеялась, что там окажется что-то обычное, нейтральное, не связанное с ним.

Открыв общий чат группы, я увидела поток сообщений, смайлики, обрывки фраз, и между ними — фотографии.

Первая — он танцует с ней, близко, слишком близко, его ладонь уверенно лежит на её талии, её лицо запрокинуто в смехе, их лбы почти соприкасаются, и на этом кадре нет ни тени сомнения, ни неловкости, ни скрытности, только лёгкость, только открытая демонстрация того, что им хорошо.

Я почувствовала, как сердце сжалось так резко, будто его сдавили рукой.

Я пролистнула ниже, хотя уже знала, что не нужно, что это только хуже, но какая-то болезненная потребность увидеть всё до конца заставляла меня продолжать, и там была вторая фотография — он целует её, не случайно, не вскользь, а открыто, при всех, под тем же светом, под теми же взглядами, под теми же телефонами, которые ещё недавно были направлены на меня. Под фото смеялись. Ставили огоньки. Писали “наконец-то”.

И каждое это слово, каждая реакция ощущалась как отдельный удар, потому что я вдруг поняла, что для них это красивая история, удачный момент, пара, которую приятно обсуждать, и нигде, ни в одной строчке, не было даже намёка на то, что несколькими минутами раньше в этом же зале стояла я.

Слёзы снова накрыли меня, только теперь они были другими — не резкими, не истеричными, а тяжёлыми, тихими, как будто внутри что-то окончательно опустилось на дно, и я лежала на кровати, прижимая телефон к груди, словно отталкивая его и одновременно не имея сил отпустить, и понимала с болезненной ясностью, что всё, во что я верила, существовало только в моей версии реальности. Он не стеснялся целовать её. Не смеялся, когда ему предлагали это сделать. Не говорил “вы с ума сошли”. Он просто сделал это.

И именно это ломало меня сильнее всего, потому что означало, что проблема никогда не была в обстоятельствах, не в компании, не во времени. Проблема была во мне.

Я закрыла чат, но изображения продолжали стоять перед глазами, будто кто-то выжег их на внутренней стороне век, и мне захотелось выключить всё — телефон, интернет, свет, саму возможность видеть и знать, потому что каждая новая мысль только углубляла эту тёмную яму внутри. Мне не хотелось никого слышать. Не хотелось объяснять. Не хотелось ни оправдываться, ни злиться, ни доказывать что-то.

Я хотела только одного — чтобы мир сузился до моей комнаты, до этих четырёх стен, до тишины, в которой никто не смеётся, никто не фотографирует, никто не выбирает не меня.

Я представила, как завтра мне придётся выйти, встретить взгляды, возможно услышать шёпот, увидеть эти же фото уже не на экране, а в чужих глазах, и от этой мысли внутри поднималась паника, потому что у меня не осталось ни сил, ни желания быть сильной, достойной, равнодушной. Я просто хотела спрятаться. Закрыться. Не видеть никого и ничего.

Сидеть дома, в тишине, подальше от света, от людей, от него, потому что сейчас даже мысль о том, что где-то он, возможно, всё ещё смеётся, всё ещё получает сообщения с поздравлениями, всё ещё наслаждается этим вниманием, делала боль почти физической.

И в ту ночь я поняла, что можно сломаться не от одного поступка, а от ясности, которая приходит после него, когда больше невозможно обманывать себя, когда все картинки складываются в одну простую, беспощадную правду: для него это было легко.

А для меня — конец чего-то, что я считала настоящим.

Глава пять

Я пришла в институт раньше обычного, потому что не спала почти всю ночь, потому что лежать дома и ждать утра оказалось тяжелее, чем просто встать и пойти навстречу тому, чего я боялась, и когда я вошла в аудиторию, где уже гудели голоса, где пахло кофе и чужими духами, где всё выглядело так же, как всегда, я вдруг почувствовала, насколько мир равнодушен к тому, что внутри меня всё ещё разваливается.

Я выбрала место ближе к стене, не в самом центре, не у прохода, чтобы быть менее заметной, чтобы пережить эту пару как можно тише, но едва я успела положить тетрадь на стол, как рядом со мной остановился он — тот самый парень, с которым я танцевала, тот самый, над которым смеялись, — и, не спрашивая, можно ли, осторожно сел рядом, будто это было логично, будто так и должно быть.

Он улыбнулся неловко, чуть напряжённо, и в его взгляде не было насмешки, не было злорадства, только странная попытка поддержать, быть рядом, не оставлять меня одну, и именно это внимание сейчас жгло особенно сильно, потому что я знала, что весь курс уже видел фотографии, уже сделал выводы, уже сложил картину, в которой я выгляжу смешно. Я не успела даже привыкнуть к его присутствию, как в аудиторию вошёл он.

Красивый, уверенный, будто ничего не произошло, будто ночь не разделила мою жизнь на “до” и “после”, и рядом с ним — она, та самая, с лёгкой улыбкой, с безупречно уложенными волосами, с видом человека, которому не пришлось плакать до утра. Они сели через проход, достаточно близко, чтобы я слышала каждое слово. Он обернулся. Посмотрел на меня. Потом на парня рядом со мной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.